

УДК 82.02

DOI 10.17223/19986645/27/7

**К.В. Анисимов, А.И. Разуvalова**

## **ДВА ВЕКА – ДВЕ ГРАНИ СИБИРСКОГО ТЕКСТА: ОБЛАСТНИКИ ИС. «ДЕРЕВЕНЩИКИ»<sup>1</sup>**

*В статье сопоставляются две ключевые версии сибирского текста русской литературы: комплекс воззрений интеллигентов-областников сер. XIX – нач. XX в. и наследие писателей-деревенщиков второй половины XX в. Сравнение охватывает идеологические, культурные и ментальные слагаемые обеих традиций. В центре внимания находится также сам феномен сибирского территориального текста, специфического мотивного субстрата, покидающего на рубеже XIX–XX вв. сферу архетипического, в которой он располагался в домодерную эпоху, и интенсивно диалогизирующегося и идеологизирующегося.*

Ключевые слова: Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, областничество, «деревенская проза», традиционализм в литературе, литература и этничность, власть, наука.

### 1

В социокультурном ключе художественную литературу можно рассматривать, в частности, как «прибежище персонажей, томящихся проблемой идентичности» [1. С. 214–215]. Территориальные мифы и производимые ими тексты – продуктивный механизм, способствующий возникновению того самоопределения, которое как раз и анализируется в только что процитированной статье А.С. Кустарева. «Способствующий», впрочем, не значит «обусловливающий» или тем более неотвратимо «определяющий». Архетипическое содержание территориального мифа может разделяться в равной степени как носителями формирующейся локальной ментальности, так и участниками историко-культурных процессов, не имеющими к ней отношения. Классические мифы о «далеких землях» не только мало что говорят о самих этих землях; будучи, по мысли А. Эткинды, Д. Уффельмана и И. Кукулина, опытом «искусствен[ого] производств[а] культурных различий» [2. С. 14], они дают яркие примеры ориентализации, т.е. этно-социального, расового, религиозного дистанцирования объекта, которое в будущем делает возможным применение к нему практик административного и экономического контроля. В этом отношении они противостоят текстам «местного самосознания», как этот феномен именовался сибирскими областниками. В свою очередь, для того чтобы самосознание такого типа возникло, требуется, в числе прочих факторов, «возгонка» традиционных локальных мифов к идеологическим и

---

<sup>1</sup> Исследование выполнено в рамках интеграционной программы УрО и СО РАН «Литература и история: сферы взаимодействия и типы повествования».

публицистическим дискуссиям, их своего рода «диалогизация», включение в полемический контекст эпохи модерна<sup>1</sup>.

В намеченной перспективе сибирский текст (далее – СТ) подлежит двум альтернативным прочтениям. Первый, неоднократно апробированный нашим литературоведением в свете новаторских для своего времени работ В.Н. Топорова, заключается в реконструкции череды архетипов, имплицированных в «сибирские» литературные сюжеты русской классикой, которая, переживая в XIX в. этап бурного становления, «изобретала», наряду с характерологическими «галереями» национальных «типов», также национальную географию, ментальную карту, продолжая тем самым традицию идеологической и политической перекройки русского ландшафта, начавшейся еще в первой половине XVIII в. [4]. Ю.М. Лотман, а вслед за ним В.И. Тюпа показали, что в глазах ряда ключевых русских писателей XIX в. Сибирь превратилась в своего рода «чистилище», инициационное пространство проблематического возрождения человека, который, пройдя через каторжные страдания, обретал новый духовно-социальный статус [5. С. 724–725; 6]. Вариантом этой интертекстуальной сюжетной модели была связанная с нею группа текстов, в которой сопоставляемые территориальные миры словно менялись местами: знаками безысходного страдания и социально-политического тупика наделялось пространство Европейской России, а Сибирь, напротив, начинала рассматриваться как утопическая антитеза погрязшей в пороках исторической государственности. Воспринятая в этой перспективе, Сибирь символически избавлялась от ассоциации с государственным репрессивным аппаратом и, полностью отходя в ведение Природы, превращалась в очаг руссоистских и романтических сюжетов с националистическим оттенком.

Вместе с тем исследование внутренней архетипической структуры СТ не представляется ни единственно возможным, ни тем более исчерпывающим. Семантическая сторона текста не может господствовать над его прагматическими коммуникативными возможностями – в том числе над вероятным полемическим откликом на транслируемые им смыслы. Между тем накрепко привязанные к культурному прошлому, архетипические модели, возводя изменчивую социополитическую реальность к незыблемой инстанции мифа, существенно препятствовали возникновению, говоря по-бахтински, моментов диалогической незавершенности, которые запускали бы процессы индивидуализации и самосознания – противоположные безальтернативным мифологическим обобщениям.

Рассматривая СТ в коммуникативном аспекте, подразумевающим выделение субъекта высказывания, референта и адресата, необходимо отметить необычную активизацию адресата (читателя) в момент появления локальной идентичности. Эта активизация, собственно, и является ее надежным индикатором. Так, подразумеваемый читатель масштабных, пронизанных мифологизмом картин, например, города и острога, очередного «мертвого дома» «на берегу широкой, пустынной реки» [7. С. 504], которые поставлялись русским романом XIX в., был принципиально неотделим от «идеального читателя».

<sup>1</sup> В свое время один из авторов данной статьи имел возможность показать проблематизацию ряда таких мифов на примере полемики Н.М. Ядринцева с работами А.П. Шапова. См.: [3. С. 208–223].

Монолитная авторская позиция (в данном случае – Достоевского), реализованная во всей структуре текста, не предполагала расщепления адресата и появление в его виртуальной конструкции каких-то геокультурных «швов». Примечательно, что сам феномен «петербургского» романа от Достоевского до Андрея Белого воспринимался в России не в метонимическом смысле – как насыщенный топографической конкретикой корпус текстов о Петербурге (притом что такая конкретика присутствовала), а в метафорическом – как художественный анализ имперского периода русской истории в целом. Односторонний, в известном смысле архаико-авторитарный характер такой коммуникации менялся с появлением «активного» читателя, заявлявшего о своей субъектности как представителя определенной локальности и подрывавшего привычные коммуникативные конвенции с автором.

## 2

Интересным прецедентом оживления читательского сознания и появления диалоговой ситуации в структуре СТ русской литературы является хорошо известная в науке [8; 9. С. 490; 10. С. 23; 11] заочная полемика одного из лидеров сибирского областничества Н.М. Ядринцева с А.П. Чеховым, автором «Писем из Сибири», опубликованных в 1890 г. Исходная метафора, к которой прибегают Ядринцев, заключала в себе уподобление «местного» реципиента чеховского текста подсудимому, который, если следовать социальному пафосу воспитавшей обоих авторов эпохи Великих реформ, становился не просто молчаливым объектом обвинительного вердикта, но обретал право на защиту, ответное слово. Таким словом и стали выступления самого Ядринцева на страницах «Восточного обозрения». Итак: «Читаю в газетах, что на наш Восток, в Сибирь, отправился целый ряд путешественников. Читаю письма г. Антона Чехова в “Новом времени”, слежу за письмами профессора Исаева, узнаю, что в Сибирь собираются какие-то иностранцы, а за ними велосипедисты. Что-то они найдут, как-то опишут Сибирь? <...> Ведь это будет суд над моею родиной, над моими соотечественниками. Проезд путешественника по Сибири – это род экзамена, род генерального смотра» [12. С. 7]. В том случае, если оправдательных слов не находилось и филиппики путешественника оказывались справедливыми, ответ в диалоге со «столичным» писателем оформлялся как запись травмы: уязвленность провинциальной вторичностью осмысливалась как страдание ребенка. «Когда нас уличают во всем этом, я чувствую себя в положении школьника, у которого открывают и разорванную куртку, и отсутствующие пуговицы, и запачканные рейтузы. Но я знаю, что школьнику скажут: болван! и заставят переменить куртку и рейтузы. Я же чувствую себя виноватым, я теряюсь, мечусь и суечусь в совершенном отчаянии» [12. С. 8]. Наконец, дискуссия могла принимать привычные формы острого идеологического спора. Таковы возражения Ядринцева на чеховские слова об интеллигентных ссыльных, которых будущий создатель «Острова Сахалин» описывал как жертв, а публицист-областник – как порчу местного общества [13]. Принадлежащий перу Ядринцева полемический комментарий к «Письмам из Сибири» усложнял и разнообразил не только рецептивную среду чеховского текста в целом, он конфликтно противоречил открыто из-

ложенной позиции самого Чехова, который многократно засвидетельствовал свое негативное отношение к встреченной им в Сибири местной интеллигенции и очевидно не предполагал встречного творческого импульса с ее стороны: «...спрос на художество здесь большой, но Бог не дает художников» [14. С. 14].

В историко-культурной перспективе приведенная в качестве примера новация была закономерной. В русском историческом опыте кризис империи (и ее национально-интеграционного проекта) совпал с широким распространением предмодернистских течений в искусстве, согласно правилам которых автор и читатель «встречались» и взаимодействовали в формировании смыслов текста [15, 16]. В рамках отмеченной тенденции культурные и социальные практики были заодно. Описанное Б. Андерсоном «воображаемое сообщество» [17], которое складывалось по мере стандартизации культуры, универсализации языка, распространения грамотности, облегчения доступа к образованию, интенсификации всех форм культурного обмена (вспомним меткое замечание Э. Рена: «существование нации – это <...> ежедневный плебисцит» [18. С. 19]) и в конечном счете делалось основой нациестроительства, обуславливало и нормативные типы самих участников процесса. Главным среди них был секулярный интеллигент, воспитанный прессой и литературой, проповедовавший деколонизацию территории и депровинциализацию ее культурной среды, т.е. устранение основных обстоятельств, вызывавших болезненное ощущение вторичности жизни на отдаленной окраине.

## 3

Ключевыми факторами, организующим мировоззрение носителя новой идентичности, были антитрадиционализм и индивидуализм, сложно сочетавшиеся с попытками «изобрести традицию» и соотнести индивидуализирующую установку с поиском нового «сообщества». Например, другой лидер сибирского областничества, Г.Н. Потанин, подчеркивал, что «так как в окружающей среде мы единомышленников не встречали, то и смотрели на себя, как на носителей мысли, ранее никем не высказанной, как на провозвестников новой жизни в Сибири» [19. С. 196]. Сразу после этих слов, говоря об областной литературе и значении своего друга Н.М. Ядринцева в ее формировании, Потанин отметил: «...сибирской литературы еще нет, она вся в будущем, а пока она только заключается в его (Ядринцева. – *К.А., А.Р.*) письмах ко мне» [19. С. 196].

В свою очередь, под углом зрения индивидуализма рассматривалась важнейшая для всех социальных теорий середины – второй половины XIX в. среда: крестьянство<sup>1</sup>. Показательно, что биографически (но не мировоззренчески) близкий областникам Н.И. Наумов, увлеченный народническим поиском общины, в середине 1880-х гг. писал: «...ищу везде общину, общинные инстинкты, так звучно воспетые Златовратским и, о горе <...> не нахожу. Нахожу только одно, что все тащат друг у друга» [9. С. 393]. Потанин дал феномену разъяснение в областническом духе. Формируя свои воззрения на

<sup>1</sup> См. один из первых подходов к теме: [20]. Подробнее: [21. С. 33 и сл.].

эту тему, он использовал почерпнутый из бесед с М.А. Бакуниным тезис о коррозии крестьянской общины на территории Сибири, о превращении сибирского мужика в заведомого единоличника. «Русский крестьянин, землепашец, общинник, коллективист, перейдя через Уральский хребет, превратился в зверолова: жизнь в тайге, часто одинокая наедине с природой, в борьбе с опасностями, требовала от него большей инициативы, и он из коллективиста превратился в индивидуалиста» [19. С. 87]. «Колонизационная волна унесла русских людей на восточный простор, и конец коллективизму. Русский коллективный человек превращается в необузданного индивидуалиста, от русской общины не остается следа. Яровой клин, озимый клин, пар – все это стало незнакомыми словами» [19. С. 148–149]. И тем не менее в будущем, как показала Г.И. Пелих, Потанину всё равно виделась сибирская община, но качественно нового типа – способная примирить автономного индивидуума с коллективом и сочетающая в себе крестьянский традиционализм с современной интеллигентской установкой на самобытность края [21. С. 48; 62]. Подчеркнем главное: согласно Потанину сибиряка делает индивидуалистом именно сопротивление природе, борьба с нею. При всей значимости органицистских (климатических и этнологических) построений в областническом наследии прямого утопического уподобления крестьянского социума «храму» природной жизни Потанин и Ядринцев старались избегать.

## 4

Отмеченные вкратце тенденции позволяют сформулировать главный тезис и задачи статьи. На заре своего зарождения сибирское областничество было интеллектуальным течением постколониального типа, типологически тяготевшим к нациестроительству [22. С. 74–75; 23]. Национализм областников, впрочем, не привел к выработке внятных категорий местной этничности, убедительной реализации проекта «своей» художественной словесности (не говоря уже о литературном языке), оставшись на той стадии процесса, на которой Э. Геллнер размещал «незалавшие» национализмы [24. С. 103]. Между тем после репрессивного переформатирования советским режимом сибирской интеллигентской среды, подчинения ее целям неоимперского [25] социального экспериментаторства, а также после периода почти полного интеллектуального молчания сталинских лет областное самосознание удивительным образом проявило себя вновь – на сей раз на излете советской эпохи, когда националистические тенденции (прежде всего в культуре) были молчаливо разрешены партийным официозом СССР [26]. Речь идет о школе писателей-«деревенщиков», наиболее яркие представители которой (В.М. Шукшин, В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, С.П. Залыгин) имели сибирское происхождение, весьма отчетливо ими артикулировавшееся. Унаследовали ли они не только проблематику давних идеологических выступлений областников XIX в., но и саму социокультурную природу их сообщества? В какой мере они разделяли выработанную областниками систему символических жестов, культурных ценностей и социальных приоритетов (вспомним здесь знаменитые пять областнических «вопросов»)? Наконец, кто был ближайшим адреса-

том творчества обеих групп, апроприировавших на разных этапах развития России право олицетворять собою аутентичный СТ?

В науке сибирское областничество и генерация «деревенских» писателей второй половины XX в. уже сопоставлялись – в появившихся одновременно, но написанных независимо друг от друга работах Н.В. Серебренникова и Дж. А. Огдена [10. С. 279–281; 27]. Исследователи выделили совпадающие положения в программах областников, с одной стороны, и, преимущественно, В.Г. Распутина, художника в наибольшей степени вдохновленного сибирской проблематикой и внесшего в XX в., пожалуй, наиболее весомый вклад в развитие СТ – с другой. В числе таких совпадений находятся литературоцентризм (осознание зависимости идентичности от художественного и публицистического слова), критика экономического колониализма, географическое конструирование целостности Сибири как макрорегиона в противовес локальному партикуляризму, осознание мифологизма самого образа Сибири, антитеза коренных жителей и «пришлых» и т.д.

Мы дополним этот перечень (не претендуя, разумеется, на его исчерпание) рядом аспектов, которые не были затронуты в указанных работах, но принципиальное значение которых для нас очевидно. Речь далее пойдет о сходствах и различиях в формулировании параметров этничности, историзма, а также об отношении к науке и государству. Данные позиции (в ряде случаев – антитетичные) позволят увидеть внутреннее «строение» двух доктрин сибирской самобытности, отделенных друг от друга столетием.

## 5

Основной вклад в разработку темы сибирского «народно-областного» типа внес, как известно, Н.М. Ядринцев. Соображения о сибирской этничности простирались в его работах существенно дальше ученых изысканий собственно в области сибирского «инородческого» населения. И если прекрасный и плодovitый востоковед Г.Н. Потанин не преувеличивал этнографическую оригинальность русского сибиряка, предпочитая говорить о влиянии на него естественно-природных условий, а также о взаимодействии Востока и Запада в общем контексте фольклорной компаративистики, то Ядринцев, заимствовав многое из радикальных статей А.П. Щапова, создал концепцию жителя Сибири, отличающегося рядом своих главных черт от русского из европейской части страны. Отмеченное выше тяготение к индивидуализации и контртрадиционализму отразилось в опыте концептуализации сибирского «типа» весьма явственно. Общеизвестно, что в глазах Ядринцева «народно-областной тип» был продуктом метисации. Гораздо важнее, что из этого сравнительно нейтрального тезиса делался политический вывод: новый этнографический тип не столько *наследовал* черты своих прародителей, сколько ликвидировал их: перемешав в новой комбинации, отвергнув традиции прошлого, он выступал в качестве материала для экспериментов, обращенных в будущее. «Наши земляки, как я замечал, были весьма восприимчивы к новым теориям, к новаторству, из них выходили самые ревностные прозелиты новых направлений. Я могу объяснить это разве тем, что сибиряки вообще не

имеют традиций, предрассудков, у них нет ничего позади, и взор их устремлен вечно в будущее» [28. С. 313].

Потанин предпочитал говорить не столько об этнографическом типе, сколько об «областном темпераменте», зависящем от условий воспитания конкретного человека. В этом смысле под областническую идеологию им подвинулся фундамент ментальности<sup>1</sup>, а процесс индивидуализации прочно укоренялся в онтологии становления личности. Однако в интересующей нас сейчас перспективе важно отметить, что и психологические основы характера будущего областника, и направленная на его воспитание педагогическая практика «концентрического родиноведения» [29, 30, 31] скрыто противопоставляли этнические черты, которые распространяются на *многих* и не зависят от частного выбора, персональным сценариям личностного развития. При этом Потанин точно отделял «инстинктивную» предрасположенность к областничеству, формирующуюся в детстве в том случае, если ребенок постоянно живет в одном месте, от «осознанного», идеологического «патриотизма», к которому человек мог перейти как на основе сформированной в детстве предрасположенности, так и руководствуясь свободным выбором. «Патриотизм не ограничивается ни географическими размерами территорий, ни языком, ни другими объективными факторами; границы свои он находит только в субъективизме», – заметил Потанин в 1886 г. [32. С. 9]. Парадоксальное сочетание в человеке изначальной приверженности к «родине» и спонтанных территориальных предпочтений зрелых лет регулировалось необходимостью сознательной работы по культурному развитию «области», которая обязательно должна была начинаться в обоих случаях. Главная задача такой работы – формирование «своей» интеллигенции, производящейся на свет местным университетом, своего рода стержневой инфраструктурной единицей того региона, в котором укоренилась «областническая тенденция»<sup>2</sup>.

Разрабатывавшееся областниками самосознание сибирской интеллигенции, вообще говоря, конфликтовало с обычной для постколониальных обществ этнической консолидацией: в этом отношении при всех имеющихся параллелях с движением украинофилов, а также похожести юридических последствий выступлений обеих политических групп (ср. омский процесс по делу сепаратистов 1865 г.) [34. С. 130; 35] налицо принципиальное отличие сибирского областничества от национального движения на Украине. Формируясь в границах огромного макрорегиона, сибирская идентичность сталкивалась с главной угрозой – этническим автохтонным и русским местечковым партикуляризмом. В этом смысле очевиден посыл Ядринцева, который в известном высказывании, посвященном кружку молодых сибиряков в Петербурге в 1860-х гг.<sup>3</sup>, четко противопоставил региональное самосознание этническому: «В Петербурге картина сближения разных представителей окраины имеет в себе нечто особенное. Немудрено, что томич льнет к томичу и иркутянин к иркутянину... но весьма любопытно было видеть, как соединялись представитель Камчатки, якут с тоболяком, забайкалец с омским казаком, бурят с томичом и чувство-

<sup>1</sup> Доидеологическим проявлением самосознания являлись, по Потанину, «областные инстинкты» – нерефлексивная форма проявления «патриотизма».

<sup>2</sup> Подробнее см.: [33].

<sup>3</sup> См. об этом кружке недавнюю специальную работу: [36].

вали, что у них бьется одно сердце» [28. С. 298]. Из этой же исторической и идеологической предпосылки вытекало не менее известное определение Потанина: «Основа сибирской идеи чисто территориальная» [37. С. 58].

Любопытно, что сам Потанин осознавал непохожесть сибирской и украинской «версий» федерализма и децентрализации империи. Так, этнические сантименты Т. Шевченко без обиняков были названы им «ирокезски[м] чувств[ом]» и противопоставлены безразличному к уже существующим этничностям регионализму Ядринцева, который «был адвокатом не одной какой-нибудь расы – он принял на себя защиту всего населения Сибири, не различая племен». В продолжении этого фрагмента находим ломающее этнический шаблон уподобление сибирских аборигенов русским крестьянам, данное скорее в духе тезиса внутренней колонизации: «В состав его клиентов входили многочисленные сибирские инородцы; литературная деятельность по инородческому вопросу была для него таким же средством для гуманизирования сибирского общества, каким для писателей Европейской России, для Тургенева и других, было описание быта крепостных крестьян. Становясь на защиту инородцев, Ядринцев должен был выступать против своих соплеменников, т.е. против русских сибиряков. Такой позиции судьба не создала ни для уральца – Железнова, ни для малоросса – Шевченко» [38. С. 45].

Редукция под пером Потанина идеи сибирской этничности приводила не только к внутриобластной полемике с утопической, восходящей к Щапову концепцией «народно-областного типа» как продукта метисации, она принципиально подрывала эссенциальные основания территориальной идентичности, к которым весьма часто апеллирует национальное чувство и в числе которых этнографическая специфика всегда была одним из сильнейших аргументов. В этом смысле Потанин оказывался в парадоксальной и, как кажется, весьма выигрышной позиции не только разработчика, но и аналитика «областной идеи».

Инстинктивной любви к природе, какую мы встречаем у партикуляристов, у Ядринцева не могло образоваться, потому что Сибирь не однообразна: в ней есть жаркие сухие степи, есть мокрые тундры. Не могло в нем образоваться и непосредственной любви и исключительной привязанности к сибирскому крестьянству, потому что сибирская раса почти не отличается от великорусского племени. И если звуки национальной песни пробуждали в нем расовое чувство, то это были звуки той же русской песни, которую поют в Европейской России. К своим патриотическим чувствам Ядринцев пришел рассудочным путем [38. С. 46].

## 6

У сибиряков-«деревенщиков» В.Г. Распутина и В.П. Астафьева природа местного патриотизма имела иную культурную природу, определявшуюся отчасти именно «онтологизацией» связи с родной территорией. Астафьев эту связь с Сибирью часто описывал в терминах биологически-нерасторжимого родства с природными объектами:

Я впервые и с удивлением обнаружил, как точно пишет об Ангаре Валя Распутин, нет, нет, не пейзаж, не внешние приметы, хотя и это он делать мастер, а как бы душу саму этой вкрадчивой и бурной реки. Мне даже показалось сейчас, что и сам Валя чем-то неуловимо, глубинно, колдовски-скрыто похож на свою родную реку, хотя и не подозревает об этом.

Мне говорят, что я тоже – душа Енисея... [39. С. 271]<sup>1</sup>.

Писатель, который долгое время жил вне родной Сибири и, как это ни парадоксально звучит, в течение тридцати с лишним лет собирался вернуться домой, постоянно откладывая возвращение, в обширной переписке подчеркивал иррациональную, необъяснимую тягу в родные места – «болезнь сибиряцкую» [39. С. 171]: «Родина тянет, и мне уже 41 год» [39. С. 70]; «И вот я, если больше года не бываю в Сибири, не повидаюсь с Енисеем и Овсянкой, начинаю видеть их во сне...» [39. С. 155]. Однако в случае Астафьева подобная «онтологизация» патриотического чувства не ставилась в исключительную зависимость от «природной», «коренной» этничности. Сибирское пространство предстает у него, как и у областников, принципиально полиэтничным («Любая смута, вселюдная, малая ли, занявшаяся внутри России, отбойной волной прибывала к далеким сибирским землям разноплеменный люд, и он наскоро селился здесь...» [41. С. 422]) и структурируется культурно-территориальной принадлежностью. Сибирская идентичность создается, пользуясь эссенциалистски-романтической терминологией Распутина, «сибирским духом», который «необязательно должен родиться в Сибири, он может развиваться где угодно, но должен соответствовать Сибири...» [42. С. 32].

Распутин и Астафьев вполне лояльны к процессам метисации, вне которых немислима усвоенная ими на уровне повседневных социальных и культурных практик идеология Сибири как «плавильного котла». Показательно, что концептуально значимую для «Царь-рыбы» роль «человека из народа» Астафьев отдал «продукту» метисации Акиму (его отец – русский, а мать – наполовину долганка). Восстанавливая для читателя свою родословную, Распутин также не преминул вспомнить «тунгуссковатость» деда и «чисто русское, ликовое лицо» бабушки [40. С. 503]. В понимании Распутина метисация, в результате которой появился своеобразный сибирский тип, – процесс природно-исторический, и в этом смысле глубоко естественный, оправданный логикой возникновения и развития нового, выводимого природой «организма». С его точки зрения, в ходе заселения Сибири коренное население и колонизаторы естественным образом нашли устраивающие обе стороны способы взаимного сосуществования. Простой мужик из колонистов, по Распутину, сразу входил в дружеские отношения с сибирским аборигеном, «перенимая от него навыки в охоте и рыбалке, в знании местных условий и природного календаря. Ничуть не страдая своей избранностью (за русскими это, кажется, и вовсе не водится), он стал родниться с аборигеном семейными узами и до того увлекся, что практика эта встревожила и правительство, и церковь» [42. С. 27]. От слияния «славянской порывистости и стихийности с

<sup>1</sup> О восприятии Ангары как воплощения творящей бытийной энергии В. Распутиным см.: [40. С. 502].

азиатской природностью и самоуглубленностью» произошел на свет сибиряк, в котором и ныне «видны две стороны, не сошедшиеся пока в одно целое, – природе, надо полагать, требуется времени больше, чем у нее было, чтобы довести начатое до конца...» [42. С. 27]. Идеологический ядринцевский аргумент, а также онтологическая персонология в духе Потанина из этих построений, как видим, исключены.

Любопытно, однако, что характерная для сибирского регионализма антитеза «коренных» и «наезжих» позволяет выявить у «поздних» «деревенщиков» этническую подоснову их самосознания. У самих областников эта антитеза была, естественно, начисто лишена этнического содержания. По мере усиления миграционных процессов, обозначивших кризис советского модернизационного проекта и распространившихся на Сибирь в 1970–1980-е гг., перемешивание<sup>1</sup> обладавшего выраженной культурно-психологической специфичностью сибирского «типа» с нерусскими этническими общностями вызывает все большее неприятие. О «полурастворенной ассимиляциями» [39. С. 318] русской нации и исчезновении привычных символических границ Астафьев пишет в 1982 г.: «В Сибири это (ассимилирующее начало. – К.А., А.Р.) хохлы – их, голубчиков, исподволь накопилось в стране больше, чем русских – 50 млн на Украине и 30 – в глуби того, что звалось Россией и Сибирью, а теперь незаметно переименовано в Нечерноземье и Кацапию» [39. С. 318]<sup>2</sup>. Созвучно астафьевским умонастроениям высказывание Распутина: «Конечно, сибиряк ныне уже не то, чем он был даже и сто лет назад. Его “сибирская порода” сильно разбавлена, и, кажется, совсем немного остается, чтобы она превратилась в одно лишь географическое понятие» [42. С. 42]. Оказывается, что представление о «русском субстрате» сибирского населения было уже встроено в конструкцию региональной идентичности, в которой, казалось бы, изначально преобладал элемент территориальной консолидации. Именно этнонационалистический компонент впоследствии был актуализирован и включен в риторические конструкции этнофобского толка.

Потанинская мысль о связи в глазах Ядринцева сибирского крестьянина и инородца перед лицом столичной колониальной экспансии близка к идеологическим построениям «деревенщиков», прежде всего Астафьева. В обоих случаях сближение противоположных социальных и культурных типов, один из которых включал в действие миф о «национальном характере», а другой являлся «антиподом всего русского» [43. С. 15], работало на утверждение все

---

<sup>1</sup> Если метисация, объединившая сибирских туземцев и взявших на себя труд колонизации огромной территории русских, казалась «деревенщикам» позитивным и производительным процессом (ее итог – оригинальный сибирский тип), то ассимиляция местного населения к «чужим» для Сибири этническим сообществам вела к нивелировке былой самобытности и оценивалась отрицательно.

<sup>2</sup> Злая ирония Астафьева по поводу преобладания в России (в том числе в Сибири) украинского населения, которое изнутри страны, его принявшей, зовет ее Кацапией и Нечерноземьем, была вызвана, среди прочего, партийно-правительственными мерами второй половины 1970-х – начала 1980-х гг. по развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР. По существу, эти меры риторически прикрывали все более очевидный экономический упадок в якобы неплодородных областях России, которые в конце XIX – начале XX в. полностью удовлетворяли внутренний спрос на продовольствие и даже работали на экспорт. Лукавая стилевая антиномия Черноземье – Нечерноземье, плохо камуфлировавшая как просчеты советской аграрной политики, так и утрату Россией прежнего символического первенства, служили стойким источником раздражения для националистически ориентированных интеллектуалов.

той же надэтнической природы сибирской идентичности. Однако в астафьевской «Царь-рыбе» у этого отождествления возникал контрмодернизационный контекст, отсутствовавший у областников и чрезвычайно важный для «деревенщиков». Сибирские инородец и крестьянин представляли здесь две репрессированные в ходе советской модернизации группы, чья «отсталость» для нового мира была нестерпимой и подлежала искоренению. Изъятые из традиционной среды обитания и лишённые привычного культурно-бытового уклада, северный инородец и русский крестьянин превращались автором в символ разрушения аутентичных культур, а их отождествление выводило к концептуально значимому для «деревенщиков» конфликту традиции и модернизации, который и обуславливал присущую этим писателям конфигурацию СТ. Положенная в основу экологизма деревенской прозы коллизия природной идиллии и жестокого (в русских условиях характерно – государственного) технизма определила то глубокое дыхание «памяти жанра», которое было присуще этой ветви русской словесности второй половины XX в. Воскресив целый ряд сентименталистских приемов в своей поэтике [44]<sup>1</sup>, «деревенщики» отсылали читателя не только к полузабытым образцам словесности карамзинского времени, но – невольно – и к типологии национальной идентичности, первые образцы которой были даны той эпохой. «Германский», т.е. этнокультурный, акцент в этой палитре самосознаний был сильнее «гражданской» составляющей, присущей областникам, следовавшим скорее американским образцам<sup>2</sup>.

Ориентация «деревенщиков» на романтические модели производства локального мифа, нередко воинственный и чуждый областникам антипрогрессизм объясняются, среди прочего, глубоко компенсаторным характером позднесоветской национально-консервативной идеологии, в рамках которой существовал «неопочвеннический» вариант регионалистского децентрализующего дискурса. Если областники искали способ превратить Сибирь из объекта приложения разнородных, не всегда согласованных правительственных инициатив в полноправный субъект культурно-экономической деятельности и оставались при этом в рамках модернизационной парадигмы, то «деревенщики» стремились выразить стадиально более позднюю травмированность модернизацией (в том числе проговорить, насколько это было возможно в подцензурных условиях, болезненный опыт коллективизации).

Несколько огрубляя, можно сказать, что эмоционально-психологической и дискурсивной основой регионалистских настроений «деревенщиков» стал «защитно-компенсаторный» [47. С. 196] национализм – побочный продукт медленной, но неотвратимой эрозии советской системы, и это существенно отличает их от областников, которые, используя на тот момент самый современный инструментарий «западных теорий колониализма и национализма» [23. С. 117], пытались сформулировать позитивную программу регионального развития Сибири. Советские историю и культуру «деревенщики» критиковали с «домодерных позиций», декларируя «антизападничество, антимодер-

<sup>1</sup> О «натуралистическом сентиментализме» В. Астафьева см.: [45. С. 99 и сл.].

<sup>2</sup> Опыт систематизации основных (включая русскую) разновидностей национализма был предложен Лией Гринфельд [46].

низм и антиинтеллектуализм» [48. С. 484]. Региональная сибирская специфика также обсуждалась ими с акцентированием традиционалистских, домысленных ценностей. Дистанцируясь от центра<sup>1</sup> – источника власти и контроля, они полемизировали с производимой им идеологией «освоения» якобы пустого, незаселенного сибирского пространства<sup>2</sup> и «стилистикой» доминирования – экономического, социального, культурного, символического. В соответствии с этой установкой пространство Сибири виделось им не только площадкой для развертывания смелых преобразовательских проектов, но прежде всего бесценным ресурсом природно-культурной первозданности, «последним форпостом» [39. С. 273], после уничтожения которого, как заметил Астафьев, «надо будет ложиться и добровольно помирать» [39. С. 273]. Наиболее отчетливо эту идею выразил В. Распутин:

Одни привыкли смотреть на нее как на богатую провинцию, и развитием нашего края они полагают его скорое и мощное облегчение от этих богатств, другие, живучи здесь и являясь патриотами своей земли, смотрели и смотрят на ее развитие не только как на промышленное строительство и эксплуатацию природных ресурсов. И это тоже, но в разумных пределах. Дабы не было окончательно загублено то, чему завтра не станет цены и что уже сегодня, на ясный ум, не опьяненный промышленным угаром, выдвигается поперед всех остальных богатств. Это – воздух, вырабатываемый сибирскими лесами, которым можно дышать без вреда для легких; это чистая вода, в которой мир и сейчас испытывает огромную жажду, и это не зараженная и не истощенная земля, которая в состоянии усыновить и прокормить гораздо больше людей, чем она кормит теперь [42. С. 8].

## 7

Отмеченные идеологические тенденции (неприятие партикуляристских концепций, стремление утвердить надэтническую природу территориальной идентичности) отчетливо выразились в представлениях областников о сибирской истории. Историческая концепция Потанина была проанализирована Г.И. Пелих в терминах социальной истории. Исследовательница детально проследила эволюцию воззрений Потанина на сельскую общину, генезис местной интеллигенции, удачно соотнесла доктрины сибирского областника с контекстом европейской философии (прежде всего с Просвещением и позитивизмом) [21]. Мы бы хотели сделать преимущественный акцент на культурно-психологической составляющей историзма, постараться ответить на

<sup>1</sup> По наблюдению А. Прохорова, в 1970-е гг. маргинальность по отношению к пустому центру советской культуры стала весьма продуктивной стратегией творческой деятельности. В связи с этим исследователь вспоминает о языковых новациях «деревенщиков» [49. С. 278–279], но дело в том, что и социокультурную маргинальность (как удаление от центра и пребывание на границе двух пространств) «деревенщики» сумели превратить в эффективную стратегию смыслопроизводства.

<sup>2</sup> Культивирование в советской прессе 1950–1960-х гг. мотивов «дикости», «заброшенности» сибирского пространства провоцировало Астафьева создать деэкзотизирующее повествование о родных местах, основанное на внутренней точке зрения: «...в тот же приезд на великую стройку (в 1957 г. – К.А., А.Р.) родилась у меня мысль написать повесть о моей Родине и родичах, дабы самонадеянным преобразователям и освоителям Сибири не казалось, что до них тут никто не жил. Жили!» [39. С. 183].

вопрос о том, зачем вообще была нужна областникам концепция сибирской самобытности – ведь ими, разработчиками тезиса о колониальном статусе края, вполне разделялась высказанная еще в 30-е гг. XIX в. первым сибирским историком П.А. Словцовым мысль: история Зауралья есть прежде всего «история <...> мер правительственных» [50. С. V–VI]<sup>1</sup>.

Главным психологическим стимулом в концептуализации самобытной местной истории была уже знакомая нам тяга к индивидуализации, которую лидеры сибирской интеллигенции хотели реализовать на всех уровнях анализа жизни региона, и в частности на уровне оценок его прошлого и будущего. В этом пункте областники сходились с фундаментальным положением и историзма как такового (по мнению Ф. Мейнеке, «ядром историзма является замена генерализирующего способа рассмотрения исторических и человеческих сил рассмотрением индивидуализирующим» [52. С. 6]), и современного национализма XIX–XX вв. с его желанием противопоставить локальные нарративы космополитизму старых империй. По-своему истолковывая теорию народной колонизации, областники во всех переселенческих потоках, устремившихся на восток России, во всех исторически сменявших одна другую фазах освоения Сибири видели желание человека жить вдали от государственного контроля<sup>2</sup>. От ближайших потомков «товарищей» Ермака до старообрядцев XVIII и XIX вв. коренные сибиряки, охотники, а затем крестьяне, «создавали поселения в темных лесах в виде раскольничьих селений и вольных слобод», демонстрируя, чем по-настоящему была «чисто народная колонизация, поддерживаемая беглыми и недовольными, искавшими приюта в наших тайгах и урманах» [53. С. 7]. В цитированных словах из ранней работы Ядринцева видно начало процесса, когда поколения переселенцев-колонистов формируют независимые от государства аграрные инфраструктуры. Здесь налицо исторический факт, но еще нет его осмысления. По мысли теоретиков областничества, такие общины должны со временем дать интеллигенцию (оставим в стороне утопизм подобного проекта), способную совершить акт этого осмысления и стать носительницей новой идентичности.

Однако и в данном случае искомая цель, равноправие центра и периферии, деколонизация последней, не могла быть достигнута сразу. Противоречие, на которое наталкивались молодые сибирские интеллектуалы, было довольно болезненным. Знаток столичной университетской среды, завсегда пetersбургских журнальных редакций, они не могли не сознавать всю культурную отсталость своей «родины». Таким образом, именно производство местной культуры, прояснение культурного лика края делалось центральным

---

<sup>1</sup> Антиромантический скепсис в отношении местной истории выражался областниками неоднократно, иногда принимая формы резкой сатиры. Приведем недавно обнаруженный пример из Потанина – ценный именно тем, что по специфике своего дарования Потанин, в отличие от Ядринцева, сатиры сторонился. «История Сибири сожжена пожарами, съедена мышами и вывезена путешественниками, в сибирских городах известны только одни *клубные истории*». [51. С. 118].

<sup>2</sup> Эта мысль вошла в идеологические построения Распутина и приобрела характерный романтико-ретроутопический колорит. Ср.: «Говоря о характере русского сибиряка, нелишне повториться, что с самого начала его формировала народная вольница. Колонизация Сибири прежде всего была народной... В Сибирь шли люди, уходившие от ограничений и притеснений и искавшие свободы всех толков...» [42. С. 30]. «Можно сказать, что во всех своих качествах, удачных и неудачных, плохих и хороших, сибиряк есть то, что могло произойти с человеком, за которым долго не поспевали ограничительные законы» [42. С. 40].

пунктом областнической доктрины, тигелем, в котором выплавлялось «местное самосознание». Стремление к исторической индивидуализации в конечном счете приводило к идее индивидуализации в творчестве. Заканчивая свои «Воспоминания», Потанин писал об это так:

Обидно, что все умственные силы, работающие для той огромной территории, на которой раскинута провинция, все выдающиеся умы и специалисты, литераторы, поэты, художники, музыканты, ученые, техники, все деятели науки и изобретатели – все они сосредоточены на небольшом клочке земли, все сбиты в кучу, и из этого тесного угла, лежащего на краю империи, разбрасывают свои знания по всей провинции, а сама провинция в этой благородной работе лишена возможности участвовать. Творчество, в искусстве ли, в науке ли, все равно, – самый высокий дар, которым природа облагодетельствовала человека. И из разных неравноправий, созданных злой судьбой человечества, самое обидное неравноправие – это неравенство в правах на творчество. Вот рядом с вами творцы культуры, цари жизни; вы преклоняетесь перед ними за те благодеяния, которые они вам доставили; они счастливы; они сознают свое значение для жизни, и совесть их спокойна. А вы, обитатель глухой провинции, по сравнению с ними умственный парий.

Вблизи от столицы эта обида менее чувствительна. В Нижнем Новгороде она чувствуется слабо, в Казани – несколько более, но на такой далекой окраине, как Сибирь, эта несправедливость кричит до самых небес [19. С. 302–303].

Приведенная обширная цитата позволяет вернуться к самому началу данной работы: не укоренение в косной среде локальных мифов, не ресентиментная подозрительность к центру, считающаяся Л. Гудковым сутью новейшего провинциализма [54], а попытка решительно преодолеть то и другое была центральным пунктом исторической концепции областников. Естественно, что в универсальной антитезе *природы* и *культуры* данное обстоятельство предопределило приверженность Потанина, Ядринцева и их последователей к полносу культуры, институциям, в которых она воспроизводится, и в конечном счете при всех реверансах в сторону крестьянской среды – к урбанизму [55. С. 34]<sup>1</sup>.

## 8

В случае «деревенщиков» сложно говорить о сколько-нибудь единой концепции сибирской истории, но существующие разработки этой проблематики (например, очерки Распутина «Сибирь, Сибирь...») в исторической сво-

---

<sup>1</sup> О локализации раннеобластнической пропаганды исключительно в городах и ее обращенности именно к городским интеллигентам см.: [56. С. 83]. Ядринцев, например, отказывался порицать колониализм как таковой, приводя в пример опыт английский модернизации доминионов: «А за что ругать? За то, что их колонизаторские таланты создали Америку и Австралию? За то, что Новой Голландии, мысу Д. Надежды и Канаде дана конституция, за то, что в Индии они строят университет и избороздили ее железными дорогами?» (цит. по: [57. С. 317]). Потанинский антиурбанизм, как показала Г.И. Пелих, определялся не агрессивным отвержением города самого по себе (чего не было и быть не могло), а утопической надеждой увидеть развитие местной интеллигенции непосредственно из крестьянской общины в ее сибирском варианте [21. С. 77–78].

ей части во многом отмечены как раз влиянием областнических идей. А вот попытки «деревенщиков» обосновать свое видение истории Сибири и ее перспектив через обращения к *природе* и *культуре* характеризовались куда меньшей однозначностью, нежели у Ядринцева и Потанина. Идея развития местных культурных институций, которые бы помогли устранить перекося в развитии центра и периферии, поддерживалась «деревенщиками» весьма горячо. Поздно и трудно приобщавшийся к образованию Астафьев не раз сетовал на отсутствие в глубинке доступных и официальных возможностей для развития одаренного человека и впоследствии целенаправленно использовал свой авторитет для культуртрегерской деятельности в родном городе: «Я прожил на Вологодчине в уважении и почете десять плодотворных лет и на родину, домой, вернулся на “белом коне”, иначе сюда и нельзя было возвращаться (в Красноярск. – К.А., А.Р.)... <...> Мне с уже утвердившимся авторитетом удалось переменить климат и творческую дремучесть сибирского города» [39. С. 651].

Вместе с тем Распутин, осмысливая современное состояние одного из пяти областнических вопросов, обращал внимание на профанирующий характер советского образования, низкий уровень которого со временем перестал определяться только территориальной отдаленностью сибирских городов от центра. Дойдя до повсеместного рутинного воспроизводства «образованщины», университетская система, по Распутину, не выполнила своей главной функции – формировать «энергичных и качественных людей, радетелей маловозделанной земли» [42. С. 555].

Едва ли не в каждом мало-мальски звучащем сибирском городе сегодня университеты, технических и экономических вузов вдесятеро больше, чем в старые времена реальных училищ, но превратились они сначала в массовое, инкубаторное расположение, выращивание профильных специалистов, дальше профиля не способных ни взглянуть, ни понять... <...> Сибирь, только-только начинавшая в XIX веке протирать глаза на свою незадавшуюся судьбу, принявшаяся с трудом засеивать в свой народ семена гражданского и сыновьего сознания, отброшена ныне в этом смысле дальше, чем была она сто лет назад [42. С. 556].

Тем не менее ни Астафьев, ни Распутин не оставляли усилий по формированию и утверждению сибирской культурной идентичности и действовали в этом направлении в 1970–1990-е гг. очень интенсивно и многообразно: читали и редактировали присылаемые писателями-сибиряками рукописи, помогали в их публикации, рецензировали книги сибиряков, выступали с инициативами проведения разного рода региональных литературно-критических семинаров и участвовали в них, работали в качестве председателя редколлегии серии «Сибирская библиотека для детей и юношества» (Астафьев) и члена редколлегии серии «Литературные памятники Сибири» (Распутин). Невысокое качество местной культурной среды Распутин выводил из обычной для центра политики в отношении колонии: «как можно больше брать и как можно меньше давать» [58. С. 367], но предельно четко он обозначал и беспорочную для него связь между крупными экономическими проектами и развитием

культуры сибирского региона. В посвященном Транссибу очерке он напряженно увязал этот масштабный колонизационный проект с возникновением культурной инфраструктуры на территориях, где тот осуществлялся:

С выходом Транссиба в срединную часть Сибири, на вершину ее, точнее обозначились не только его собственные, ведомственные обязанности, но и культурные, духовные, просветительские задачи. Вспомогательный «обоз», подцепленный к локомотиву, продирающемуся в глубь восточной страны, все разрастался, и чем дальше, тем больше. Дорога сама по себе, если бы она даже шла налегке, не обременяя себя дополнительными нагрузками, несла задатки широкого преобразования этого края. Загружай, что требуется, и вези без помех – даже идеи, вкусы, нравы, манеры, новые способы хозяйствования и управления. Но дорога не обошлась этим испытанным путем колонизации, не ограничилась завтрашними результатами, тем, что при перевозках составных частей жизни сама собой устроится и новая, приличествующая времени жизнь, а принялась одновременно со своим ходом укоренять то лучшее, без чего обходиться уже было невозможно. Транссиб продвигался обширным фронтом, оставляя после себя не одно лишь собственное путевое и ремонтное хозяйство, но и училища, школы, больницы, храмы [42. С. 148–149]<sup>1</sup>.

Транссиб, по мысли Распутина, – практически идеально решенная колонизационная задача, поскольку реализация этого проекта позволила, с одной стороны, на новом уровне интегрировать Сибирь в символическое целое империи, а с другой, придала импульс развитию территориального культурного самосознания. Но постколониальный сюжет, разрабатываемый сибиряками-«деревенщиками» в 1970–1990-е годы, фиксировал не культуростроительный эффект колонизационно-модернизационных акций, а, пользуясь выражением Распутина, «природовредный» [60. С. 484]. Собственно, Распутин и Астафьев в художественной прозе запечатлели коллапс советского утилитарного освоения Сибири, которое не позволило региону сформироваться в полноценный культурный субъект и подорвало прежнюю идентификацию Сибири как пространства природной первозданности. Хотя, по мысли Распутина, продолжившего свою версию постколониального сюжета анализом последствий постсоветской колонизации Сибири, несовершенства и просчеты советского модернизационного проекта меркнут на фоне современной ресурсной политики, описываемой им в перспективе дегенерации, инволюционного движения:

Не больно радив и аккуратен был прежний хозяин, загребал он через край, с потерями не считался... Но размотать в одну жизнь сказочное богатство не мог и он, сколько бы ни усердствовал, у нас оставались надежды, что со временем дело хозяйствования и управления перейдет в более рачительные руки наследников. И вдруг оказалось, что наследство этому роду, а если без иносказаний – народу, больше не принадлежит и что его в результате хитрых и одновременно грубых махинаций захватили

---

<sup>1</sup> Взаимообусловленными в воспоминаниях Астафьева выглядят строительство и промышленное развитие Игарки в 1930-е гг. (даже с учетом того, что оно в значительной мере обеспечивалось штрафной колонизацией) и активная творческая жизнь в заполярном городе [59. С. 50–51; 39. С. 117].

проходимцы, отиравшиеся возле завещательных бумаг и сами себе устроившие распродажу общей собственности.

Не одно десятилетие Сибирь пыталась снять с себя ярмо российской колонии, а теперь кончается тем, что ей приготовлена участь мировой колонии, и со всех сторон к ней слетаются хищники, вырывающие друг у друга лакомые куски [42. С. 564].

## 9

Колониальные практики освоения Сибири с конца XIX столетия, т.е. с начала строительства Транссиба, и до нашего времени остро ставили проблему науки и научного знания как инструментов этого освоения. В отличие от многообразных функций науки в современном социуме с развитой образовательной инфраструктурой (от школы и больницы до университета и академии наук) колониальные условия применения науки резко акцентировали ее техницистскую составляющую, а также анализировавшуюся М. Фуко связку с властью. В рамках колониальной парадигмы, в сущности, в других функциях наука не нуждалась. В этих условиях областники XIX в. оказывались в непростой ситуации. Так, Г.И. Пелих отметила парадокс в осмыслении Потаниным своей миссии как интеллектуала: с одной стороны, биография лидера областничества давала яркие, едва ли не беспрецедентные в среде коренных сибиряков примеры академической карьеры и известной всей России научной репутации. С другой стороны, с опорой на архивные материалы исследовательница продемонстрировала резкую антипатию Потанина к рациональному научному педантизму, стремление вырваться из бесплодного окружения тех, кто «убеждает нас не развивать чувство, а мысль», желание не только изучать, но «бить по сердцам» [21. С. 83]. Однако эти уже знакомые нам отголоски сентиментализма, подкрепленные закономерным интересом к Руссо [21. С. 87; 123–124], являются, на наш взгляд, не столько примерами программной «антисциентистской» установки Потанина [21. С. 83], сколько закономерными чертами националистического дискурса, создававшего свою риторику из тропов сентиментальной и романтической культур [61]. Поэтому нам кажется, что выводы Г.И. Пелих об антисциентизме Потанина слишком категоричны. Они, несомненно, открывают еще одну, но далеко не единственную, сторону потанинской идентичности как ученого и идеолога. Вместе с тем наука продолжала оставаться одним из ключевых компонентов в фундаменте этой идентичности.

Вспоминая становление своего «патриотизма», превращение его из смутно сознаваемых «инстинктов» и партикуляризма казачьей общины в общесибирскую идентичность, Потанин прежде всего говорит о последовательных этапах овладения книжным знанием. Книга и формирование сообщества единомышленников становятся ступенями к новому самосознанию, ступенями, впрочем, типичными для интеллектуалов пореформенного времени. «В Омске я нашел и людей и книги. <...> Перемена политических убеждений, превращение в либерала и сторонника реформ, совершившееся под влиянием омских знакомств и чтения прогрессивных журналов, видоизменило мои мечты о моей будущей миссии. Мой казачий патриотизм охладел, я превра-

тился в сибирского патриота» [19. С. 80; 83]. Пропущенный фрагмент цитаты содержит обширные перечни актуальной для конца 1850-х гг. литературы – от изящной словесности до радикальных журналов, которые Потанин с друзьями «хватали» «с жадностью».

Извлекая из «Воспоминаний» Потанина нужные нам идеи, отметим замечательную черту самого этого жизненного документа, особенность его построения. Значительные по своему масштабу разделы посвящены в нем истории научной карьеры автора. В областниковедении нередко говорится, что побег в «чистую» науку был своего рода эмиграцией Потанина из политики и общественной жизни [10. С. 13; 56. С. 126, 165]. В чем-то такое восприятие своих азиатских экспедиций инспирировал сам Потанин, увидевший «прирожденного журналиста», который «пойдет во главе сибирского движения», в Ядринцеве, а себе оставивший скромное предназначение «сделаться только его помощником» [19. С. 119]. Между тем потанинский сциентизм – крайне важная сторона и его личности, и всего того контекста, к которому он принадлежал. Объемные и увлекательные рассказы об ученых, с которыми судьба свела Потанина, стилистически, а подчас и идеологически примыкают к его же «областнической тенденции». Ср., например, слова об орнитологе Н.А. Северцеве. «Бюрократические ступени были ему как будто неизвестны; он читал только Дарвина и равных ему великанов науки. Для него как будто не существовало русского государства; он видел перед собой только пространство, населенное жучками, бабочками, птицами и пр. Это был редкий в России пример человека, которого наука сделала свободным от раболепия русских подданных...» [19. С. 181]. Любопытно, как в цитированном фрагменте «знание» сознательно отделено от «власти».

Так или иначе, потанинская позиция, характеризовавшаяся бóльшим динамизмом и гораздо меньшей однозначностью, чем радикальные воззрения Ядринцева, содержавшая в своем составе приверженность концептам «чувства» и «инстинкта», позволяет, как кажется, видеть в ней немало общего с будущей экологической программой «деревенщиков».

## 10

Тем не менее ни сциентизм, ни сознательную ориентацию на «эмпирическое» изучение родного края «деревенщики» от своих предшественников, воспитанных в лоне позитивистской традиции, не переняли. Напротив, романтический пафос их патриотизма закономерно подкреплялся унаследованными характеристиками (в терминах П. Бурдьё – «габитусом») выходцев из крестьянства, для которых практики непосредственного общения с природой и животным миром, входившие в представления о крестьянском навыке «приспособления» к местной экосистеме, значили столь же много, как научное изучение региональных истории или географии. Более того, полемическое противопоставление «практического», или, по Дж. Скотту [62. С. 24], «местного» знания, наработанного крестьянской средой, абстрактному, специфицированному (и в этом смысле узкому), оторванному от реальности научному знанию, которое обслуживает губительные концепции «авторитарного социального планирования» [62. С. 308] (от коллективизации до проекта

переброски северных рек), в 1980–1990-е гг. определяло своеобразный анти-сциентистский пафос экологической публицистики «деревенщиков».

Актуализация социального опыта крестьянской среды, включая «артельность» как антитезу атомизации и анонимности индивида в городском сообществе, придание этому опыту универсальной культурной значимости весьма характерны для позднесоветского «неопочвенничества» в целом и «деревенщиков» в частности. Последние и представляли «почву» – «простонародную» основу нации, определявшую себя, среди прочего, и через противопоставление прогрессистски и прозападно настроенным интеллектуалам.

В этом смысле областники (особенно Ядринцев) на диахроническом срезе инициированного Чаадаевым конфликта западников и почвенников оказываются оппонентами «деревенщиков». Известны слова Потанина о Ядринцеве: «Это был человек, всецело охваченный мечтою о лучшем будущем Сибири, – о великом будущем, как он любил говорить, – искренно желавший послужить для осуществления этой мечты; западник, воспитавшийся на Белинском, Герцене и Чернышевском, с жадностью впитавший в себя идеи Запада, преклонившийся перед западной культурой и ставивший целью своей жизни пересадку европейских форм жизни на русский восток, прививку европейских идей сибирским умам» [38. С. 72]. Показательно, что и «общинные» симпатии областников, принципиальный вопрос их историософии, почерпнутый не только из актуальной политической повестки дня 50–60-х гг. XIX в., но и из трудов Прудона [10. С. 39], включали в себя обязательное формирование интеллигентного слоя словно «на плечах» сельской общины [21. С. 38–41].

## 11

Расхождение двух поколений представителей сибирской идентичности проявилось также в таком важнейшем пункте, как отношение к государству. Мы не будем здесь вставать на торную дорогу спекуляций о сепаратизме Потанина, Ядринцева и их единомышленников в 60-е гг. XIX в. Ни деятельности, направленной на настоящее территориально-правовое отделение Сибири от России, ни устойчивости дискурса сецессии в интервале от 60-х гг. XIX в. до эпохи революций, ни упорства в выработке «своих» «аутентичных» языка и культуры, ни типичного для национализма мифологического «застаривания» сибирской «нации» – ничего этого областническая теория и практика в себе не содержали. Ключевые требования уложились, как известно, во вполне рациональный перечень из культурно-образовательного подъема области, распространения на ее территорию всех преобразований времени Великих реформ, ликвидации экономического неравенства, защиты инородцев, решения проблемы каторги и ссылки. Речь пойдет о другом: о принципах самого диалога с центральной властью, о восприятии ее либо в качестве харизматического источника учреждения всеобщего порядка (безотносительно к тому, хорош этот источник в настоящий момент или плох), либо в качестве рациональной институции (опять-таки безотносительно к тому, хороша она или плоха, успешна или нет).

Потанин подчеркивал, что областническая программа в своих главных экономических и культурных составляющих была адресована не столько

центральной власти, сколько Европейской России как таковой. «Главное отличие Ядринцева от предшественников-патриотов заключается в том, что он оппонировал не правительству, а русскому обществу; он противопоставлял не интересы русского общества интересам правительства, а интересы сибирского общества интересам Европейской России, интересы колонии – интересам метрополии» [19. С. 158]. Учитывая то, что антимонархическими взглядами Потанин проникся еще при жизни Николая I [19. С. 120], можно сказать, что социальная ментальность лидера областничества была ориентирована на горизонтальные связи, обретающие свой законченный вид в разных сообществах, трансформациях аграрной общины. Напротив того, «вертикальное», иерархическое, а в новых социальных условиях – классовое восприятие общественного устройства было областникам чуждо. В частности, это обстоятельство обусловило классический для сибирской истории рубежа XIX–XX вв. конфликт областнической интеллигенции с политической ссылкой, когда, по словам Потанина, «Ядринцев желал подрастающее молодое поколение воспитать сибирскими патриотами, которые бы служили интересам окраины, а его противники вербовали в этой среде тружеников для оппозиционной работы в центре» [38. С. 62].

«Деревенщики», несмотря на поэтизацию «гемайншафтных» связей, оказались более привержены сословно-иерархическому восприятию социума, согласно которому власть, идеологи и агенты модернизации взирают на «управляемые» слои населения как на объект, подлежащий, по выражению Дж. Скотта, «социальной перепланировке» [62. С. 293], а «подчиненные» сопротивляются, уклоняются либо смиряются. С этой точки зрения позиции *власти* и *народа* отмечены явной ролевой асимметричностью, а социальная коммуникация между ними по большей части фиктивна. В связи с этим уместно сослаться на сюжет, включенный в книгу В.Г. Распутина «Сибирь, Сибирь...». Вспоминая свои диалоги с министерскими чиновниками по поводу Байкала, писатель точно подметил: «Мы продолжаем говорить на разных языках» [42. С. 325]. Между тем любопытной особенностью этой ситуации является то, что правомочным собеседником в бессмысленном в конечном счете диалоге Распутиным продолжает видеться почти исключительно власть. Перед нами вполне архаичный социальный феномен, анализировавшийся социологами и фольклористами, подметившими, в частности, что герой русского лубка, бунтуя против власти, источник прощения и религиозности видит, в отличие от героя западных сюжетов массовой авантюрной словесности, в той же самой власти [63. Р. 169–171 et passim]. Эта же тенденция, проявившаяся в фольклорных союзах отщепенца и царя, была в свое время подмечена русскими семиотиками [64. С. 458].

Примечательна в этой связи биография героя распутинского цикла «Сибирь, Сибирь...» Н.П. Смирнова, поселившегося отшельником на гидрологическом посту в южной части Телецкого озера на Алтае. Вектор своей биографии он характерным образом прочертил от центра, власти и социальности к природной периферии. «Жизнь повел со столиц, сначала в Петербурге, потом учился на рабфаке в Москве, квартировал в одной комнате общежития со старшим братом недавно всесильного члена Политбюро М.А. Сулова – Павлом» [42. С. 224]. Когда над алтайским заповедником нависла угроза («в

1967 г. <...> заповедник был закрыт и за правобережье взялись лесорубы»), Смирнов примечательно не протестует собственно *против* власти, а в соответствии с неписаными правилами русского авторитаризма, «грамматикой» его иерархий конвертирует энергию своего несогласия, по существу, в жанр челобитной. Он «<...> не вытерпел и написал Сулову, напоминая о себе, спрашивая о брате, но самое главное – прося за заповедник. <...> На следующий год заповедник вернули» [42. С. 224].

Тем не менее сводить взаимодействие власти и народа у «деревенщиков» исключительно к «репрессивной» модели было бы ненужным упрощением, поскольку коммуникация между двумя этими культурно-политическими субъектами описывается Распутиным, Астафьевым и др. также посредством традиционной метафоры родства: прежде всего асимметричных в своей заведомой неравноправности отцовско-сыновних отношений. Размышляя о сворачивании колониционных инициатив в Сибири, Распутин замечает: «И как-то сами собой заглохают и меркнут, теряют свое значение слова: сын земли, радетель, экономя... Видимо, людское сыновство неотделимо и невозможно без государственного отцовства» [42. С. 567]. Иначе говоря, в сознании «деревенщиков», особенно Распутина, образ государства оказывается внутренне непоправимо расщеплен: от гнета государства русский мужик бежит в Сибирь, однако позднее под патронатом государства осуществляются проекты развития этой территории (тот же Транссиб); декларирующие необходимость соблюдать «государственную пользу» министерства и ведомства разоряют сибирские природные богатства, но наличие «окормляющей» воли государства способствует символическому собиранию огромных пространств и их населения<sup>1</sup>. Так или иначе, вне символического контура власти (недаром одно из поздних распутинских определений патриотизма – «система *государственно-охранительных* взглядов» [65. С. 235]) пространство для социальной самоорганизации у героев Распутина, равно как и у автобиографического повествователя, уже «в молодости» искавшего «одиночества» [66. С. 522], узко и ограничено.

Парадоксально, но именно в экологической публицистике «деревенщиков» второй половины 1980-х – начала 1990-х гг., которая начинается с осмысления региональных природоохранных проблем, перерастая со временем в критику государственной политики природопользования и становясь одним из воплощений позднесоветского «гражданского активизма»<sup>2</sup>, обнаруживается, наряду с властью, еще один адресат – «общественность», наиболее активная часть социума. Казалось, экологическое движение в сочетании с социально-политическими переменами рубежа 1980–1990-х гг. благоприятствова-

<sup>1</sup> 1990-е гг. столь яростно порицаются Распутиным не в последнюю очередь оттого, что в условиях ослабления государственных институтов патерналистские обязанности, прежде ими выполнявшиеся, аннулируются, «народ» оказывается без опеки. «Одичание, – полагал писатель, – <...> шло не из окраин, а оттуда, из центра ослепительной эпохи “перестройки”, принесшей Сибири, как и России в целом, неисчислимые бедствия. <...> ...Бросили, обезлюднили и остудили опять побережье Ледовитого океана, которое, если уж быть справедливым к прошлому, в советское время осваивалось, обогревалось и оживлялось по всей его необъятности с особой и безупречной заботой. Не придерешься. Не бывало и быть не могло случая, чтобы в эти районы не завезли на зиму топливо и продовольствие и оставили людей наедине с жестокой полярной ночью» [42. С. 567, 570].

<sup>2</sup> Под этим углом зрения экологическое движение в СССР рассмотрено в работах [67, 68].

ли кристаллизации территориально-региональных идентичностей, но «деревенщички» открывшейся тогда возможностью сформулировать «неообластническую» доктрину не воспользовались, отчасти именно потому, что коммуникативная модель *власть – народ* оказалась для них привычнее, нежели понимание «общества» как сложно устроенной системы, работающей на принципах согласования интересов его групп и слоев. Условный социум, которому они адресовали свои размышления, ими почти не дифференцировался – «деревенщички» обращались к «народу» вообще, оттого антиколониальные обертоны их выступлений читались не столько в аспекте противостояния метрополии и колонии, сколько как выражение традиционной «внутреннеколониальной» коллизии *власти и народа*. В ее рамках «чисто территориальная» «идея» областничества, которую утверждал Потанин, менялась рефлексией о вековом антагонизме «элиты» и «мужика».

### Литература

1. Кустарев А.С. После понижения в должности – Британия, Франция, Россия // Наследие империй и будущее России / под ред. А.И. Миллера. М., 2008. С. 214–215.
2. Эткин А., Уффельман Д., Кукулин И. Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России / под ред. А. Эткина, Д. Уффельмана, И. Кукулина. М., 2012. С. 6–50.
3. Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX в.: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005.
4. Бассин М. Россия между Европой и Азией: Идеологическое конструирование географического пространства // Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет. М., 2005. С. 277–310.
5. Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 1997. С. 712–729.
6. Тюпа В.И. Сибирский интертекст русской литературы // Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М., 2006. С. 254–264.
7. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. Т. 5. Л., 1989.
8. Гайдук В.К. Творчество А.П. Чехова и Сибирь // Литература и фольклор Восточной Сибири. Иркутск, 1978. С. 3–17.
9. Очерки русской литературы Сибири. Новосибирск, 1982. Т. 1.
10. Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. Томск, 2004.
11. Макарова Е.А. Сибирь Чехова и Сибирь о Чехове: к проблеме диалога русско-европейского и регионального сознания // Чехов и время / ред. Е.Г. Новикова. Томск, 2011. С. 261–279.
12. Добродушный сибиряк (Н.М. Ядринцев). Вдоль да по Сибири // Восточное обозрение. 1890. №. 37. 16 сент. С. 7–9.
13. Неисправимый резонер (Н.М. Ядринцев). В столичной прессе о Сибири // Восточное обозрение. 1890. №. 40. 7 окт. С. 8–9.
14. Чехов А.П. Из Сибири // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Сочинения. Т. 14–15. М., 1978. С. 5–38.
15. Гаспаров М.Л. Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: антология. М., 1993. С. 5–44.
16. Тюпа В.И. Модернизм // Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004. Т. 1. С. 100–104.
17. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
18. Репан Е. What is a Nation? // Nation and Narration / ed. by Homi Bhabha. London; New York, 1994. P. 8–22.
19. Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1983. Т. 6.

20. Чмыхало Б.А. Нравственные аспекты «крестьянской темы» в областнической критике конца XIX в. // Проблемы нравственно-психологического содержания в литературе и фольклоре Сибири. Иркутск, 1986. С. 118–125.
21. Пелих Г.И. Историческая концепция Г.Н. Потанина. Томск, 2006.
22. Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006.
23. Ремнев А.В. Национальность «сибиряк»: Региональная идентичность и исторический конструктивизм XIX в. // Полития. 2011. № 3 (62). С. 109–128.
24. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
25. Мартин Т. Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011.
26. Brudny Y.M. Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991. Cambridge, Mass., 1998.
27. Огден Дж. А. Сибирь как хронотоп: создание Валентином Распутиным «пригодного» прошлого в «Сибирь, Сибирь...» // Ab Imperio. 2004. № 2. С. 647–664.
28. Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1979. Т. 4. С. 291–315.
29. Смокотина Л.И. «Концентрическое родиноведение» как органическая часть культурологических разработок Г.Н. Потанина // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2008. Вып. 2 (76). С. 30–31.
30. Смокотина Л.И. Г.Н. Потанин о настоятельной потребности введения предмета «родиноведение» в учебные программы российских народных школ в конце XIX – начале XX в. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2008. № 3 (4). С. 96–99.
31. Смокотина Л.И. Г.Н. Потанин о целесообразности родиноведения в развитии русско-монгольской торговли в конце XIX – начале XX в. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2011. № 2 (14). С. 49–53.
32. Авесов (Г.Н. Потанин). Областной вопрос в русской печати в 1885 г. // Восточное обозрение. 1886. № 1. С. 9–10.
33. Потанин Г.Н. «Возрождение России и министерство народного просвещения» / публ. и коммент. К.В. Анисимова // Вестн. Том. гос. ун-та. 2004. № 282. Сер. Философия. Культурология. Филология. С. 300–307.
34. Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000.
35. Дело об отделении Сибири от России / публ. А.Т. Топчия, Р.А. Топчия; сост. Н.В. Себреников. Томск, 2002.
36. Малинов А.В. Сибирский земляческий кружок в Петербурге – первая организация сибирских областников // Областническая тенденция в русской философской и общественной мысли: К 150-летию сибирского областничества. СПб., 2010. С. 116–139.
37. Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907.
38. Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1986. Т. 7. С. 35–139.
39. Астафьев В.П. Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952–2001. Иркутск, 2009.
40. Распутин В.Г. Откуда есть-пошли мои книги // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 501–512.
41. Астафьев В.П. Пришлая // Астафьев В.П. Собр. соч.: в 15 т. Красноярск, 1997. Т. 11. С. 422–427.
42. Распутин В.Г. Сибирь, Сибирь... Иркутск, 2006.
43. Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2008.
44. Плеханова И.И. «Философия чувств» в прозе В. Распутина // Поэтика писателя и литературный процесс. Тюмень, 1988. С. 134–140.
45. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2 т. М., 2006. Т. 2.
46. Greenfeld L. Nationalism. Five Roads to Modernity. Harvard, 1992.
47. Гудков Л.Д. Негативная идентичность. М., 2004.
48. Липовецкий М., Берг М. Мутации советскости и судьба советского либерализма в литературной критике семидесятых: 1970–1985 // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М., 2011. С. 477–532.

49. Прохоров А. Унаследованный дискурс: Парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «оттепели». СПб., 2007.
50. Словоцв П.А. Историческое обозрение Сибири: в 2 кн. СПб., 1886. Кн. 2.
51. Потанин Г.Н. Родиноведение / Публ. И.Ф. Юшина, вступ. ст. и коммент. Н.В. Серебrenникова // Литература Урала: история и современность. Вып. 4: Локальные тексты и типы региональных нарративов. Екатеринбург, 2008. С. 116–122.
52. Мейнке Ф. Возникновение историзма. М., 2004.
53. Ядринцев Н.М. Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов. Красноярск, 1919.
54. Гудков Л. Амбиции и resentment идеологического провинциализма // Новое литературное обозрение. 1998. № 3 (31). С. 353–371.
55. Головинов А.В. Идеологи областничества о роли интеллигенции в развитии русской провинциальной культуры // Областническая тенденция в русской философской и общественной мысли: К 150-летию сибирского областничества. СПб., 2010. С. 32–40
56. Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке». Г.Н. Потанин: биогр. очерк. Новосибирск, 2004.
57. Сибирь в составе Российской империи. М., 2007.
58. Распутин В.Г. Откуда они в Иркутске?: Предисловие к книге А.Д. Фатьянова «Иркутские сокровища» // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 362–371.
59. Астафьев В.П. Родной голос // Астафьев В.П. Собр. соч.: в 15 т. Т. 12. Красноярск, 1998. С. 49–60.
60. Распутин В.Г. Вопросы, вопросы... // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 477–500.
61. Живов В.М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. № 91 (3). С. 114–140.
62. Скотт Дж. Благими намерениями государства: Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М., 2005.
63. Brooks J. When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, 1988.
64. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры: («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва) // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 446–600.
65. Распутин В.Г. «Так создадим же течение встречное...»: Выступление на съезде Русского Национального Собора // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 232–241.
66. Распутин В.Г. Байкал предо мною // Распутин В.Г. В поисках берега: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 515–525.
67. Weiner D.A Little Corner of Freedom. Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev. Berkeley, LA; London, 1999.
68. Яницкий О.А. Длинные 1970-е: гражданское общество тогда и сейчас // Неприкосновенный запас. 2007. № 2 (52). Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/ia3.html> (ссылка проверена 10.11.2013).

Anisimov Kirill V., Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation), Разуvalova Anna I., Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sciences – Pushkin House (Saint-Petersburg, Russian Federation). E-mail: kianisimov2009@yandex.ru / rai-2004@yandex.ru

**TWO CENTURIES – TWO VERSIONS OF THE SIBERIAN TEXT: REGIONALISTS VS. "VILLAGE-PROSE WRITERS". DOI 10.17223/19986645/27/7**

**Keywords:** G.N. Potanin, N.M. Yadrinsev, V.G. Rasputin, V.P. Astafiev, regionalism, "village prose", traditionalism in literature, literature and ethnicity, power, science.

In the article the authors present a new approach to the Siberian text of Russian literature, which is analysed in the perspective of the two most prominent intellectual and aesthetic movements produced by the Siberian cultural milieu in the second half of the 19th and in the 20th centuries – the group of Siberian regionalists and the generation of village-prose writers. Despite the traditional apprehensions

of the Siberian text as an archetypal motif ensemble rooted in archaic initiation rituals (works by Yu. Lotman and V. Tyupa), the authors of the given article attract attention to the communicative ability of the territorial text as its constitutive part. The shift of the viewpoint, based on the concrete material (see, for instance, Yadrintsev's insults against first Chekhov's travelogue notes from Siberia), led to the widening of the spectrum of questions and problems, which now became accessible for the scholar. The strengthening of the dialogue and ideology influences, which in turn were the results of the fundamental transition from classical to non-classical forms of poetics at the turn of the centuries, articulated the previously unexpressed components in the Siberian text structure, e.g., ethnicity, science, power, history. Having been produced by the communities of writers and journalists these very concepts asserted their influence over dominating at the given time type of the local identity.

In the course of analysis a number of basic ideological and mental constructs which indicated similarities and differences between the two major cultural projects of Siberian intelligentsia were revealed. Being observed from the viewpoints of ethnicity, science, history and power, both compared versions of the Siberian text and regional identity demonstrated complex relationships of mutual attraction and distinction. The comparison of intellectual, positivistic, individualistic and modern in the general nature of regionalists' self-consciousness encountered with the peasant-collectivistic ethos entwined with the romantic national sentiment of the village-prose writers allowed to scrutinize different artistic and conceptual "transcriptions" of inherent Siberian social themes, e.g., the aborigines' life, the raw-materials tilt in the economic development, the dialogue with the centre of the state.

### References

1. *Kustarev A.S.* Posle ponizheniya v dolzhnosti – Britaniya, Frantsiya, Rossiya // *Nasledie imperiy i budushchee Rossii / pod red. A.I. Millera.* M., 2008. S. 214–215.
2. *Etkind A., Uffel'man D., Kukulina I.* Vnutrennyaya kolonizatsiya Rossii: mezhdru praktikoy i voobrazheniem // *Tam, vnutri. Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii / pod red. A. Etkinda, D. Uffel'mana, I. Kukulina.* M., 2012. S. 6–50.
3. *Anisimov K.V.* Problemy poetiki literatury Sibiri XIX – nachala XX v.: Osobennosti stanovleniya i razvitiya regional'noy literaturnoy traditsii. Tomsk, 2005.
4. *Bassin M.* Rossiya mezhdru Evropoy i Aziey: Ideologicheskoe konstruirovaniye geograficheskogo prostranstva // *Rossiyskaya imperiya v zarubezhnoy istoriografii: Raboty poslednikh let.* M., 2005. S. 277–310.
5. *Lotman Yu.M.* Syuzhetnoe prostranstvo russkogo romana XIX stoletiya // *Lotman Yu.M. O russkoy literature.* SPb., 1997. S. 712–729.
6. *Tyupa V.I.* Sibirskiy intertekst russkoy literatury // *Tyupa V.I. Analiz khudozhestvennogo teksta.* M., 2006. S. 254–264.
7. *Dostoevskiy F.M.* Prestuplenie i nakazanie // *Dostoevskiy F.M. Sobr. soch.: v 15 t.* T. 5. L., 1989.
8. *Gayduk V.K.* Tvorchestvo A.P. Chekhova i Sibir' // *Literatura i fol'klor Vostochnoy Sibiri.* Irkutsk, 1978. S. 3–17.
9. *Ocherki russkoy literatury Sibiri.* Novosibirsk, 1982. T. 1.
10. *Serebrennikov N.V.* Opyt formirovaniya oblastnicheskoy literatury. Tomsk, 2004.
11. *Makarova E.A.* Sibir' Chekhova i Sibir' o Chekhove: k probleme dialoga russko-evropeyskogo i regional'nogo soznaniya // *Chekhov i vremya / red. E.G. Novikova.* Tomsk, 2011. S. 261–279.
12. *Dobrodushnyy sibiryak (N.M. Yadrintsev).* Vdol' da po Sibiri // *Vostochnoe obozrenie.* 1890. №. 37. 16 sent. S. 7–9.
13. *Neispravimyy rezoner (N.M. Yadrintsev).* V stolichnoy presse o Sibiri // *Vostochnoe obozrenie.* 1890. №. 40. 7 okt. S. 8–9.
14. *Chekhov A.P.* Iz Sibiri // *Chekhov A.P. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. Sochineniya.* T. 14–15. M., 1978. S. 5–38.
15. *Gasparov M.L.* Poetika «serebryanogo veka» // *Russkaya poeziya «serebryanogo veka», 1890–1917: antologiya.* M., 1993. S. 5–44.
16. *Tyupa V.I.* Modernizm // *Teoriya literatury: v 2 t. / pod red. N.D. Tamarchenko.* M., 2004. T. 1. S. 100–104.
17. *Anderson B.* Voobrazhaemye soobshchestva: Razmyshleniya ob istokakh i rasprostraneni natsionalizma. M., 2001.

18. *Renan E.* What is a Nation? // Nation and Narration / ed. by Homi Bhabha. London; New York, 1994. P. 8–22.
19. *Potantin G.N.* Vospominaniya // Literaturnoe nasledstvo Sibiri. Novosibirsk, 1983. T. 6.
20. *Chmykhalo B.A.* Nравstvennyye aspekty «krest'yanskoj teme» v oblastnicheskoy kritike kontsa XIX v. // Problemy нравstvenno-psikhologicheskogo sodержaniya v literature i fol'klore Sibiri. Irkutsk, 1986. S. 118–125.
21. *Pelikh G.I.* Istoricheskaya kontsepsiya G.N. Potanina. Tomsk, 2006.
22. *Miller A.* Imperiya Romanovykh i natsionalizm: Esse po metodologii istoricheskogo issledovaniya. M., 2006.
23. *Remnev A.V.* Natsional'nost' («sibir'yak»): Regional'naya identichnost' i istoricheskij konstruktivizm XIX v. // Politiya. 2011. № 3 (62). S. 109–128.
24. *Gellner E.* Natsii i natsionalizm. M., 1991.
25. *Martin T.* Imperiya «polozhitel'noy deyatel'nosti»: Natsii i natsionalizm v SSSR, 1923–1939. M., 2011.
26. *Brudny Y.M.* Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991. Cambridge, Mass., 1998.
27. *Ogden Dz. A.* Sibir' kak khronotop: sozdanie Valentinom Rasputinym «prigodnogo» proshlogo v «Sibir', Sibir'...» // Ab Imperio. 2004. № 2. S. 647–664.
28. *Yadrintsev N.M.* Sibirskie literaturnye vospominaniya // Literaturnoe nasledstvo Sibiri. Novosibirsk, 1979. T. 4. S. 291–315.
29. *Smokotina L.I.* «Kontsentricheskoe rodinovedenie» kak organicheskaya chast' kul'turologicheskikh razrabotok G.N. Potanina // Vestn. Tom. gos. ped. un-ta. 2008. Vyp. 2 (76). S. 30–31.
30. *Smokotina L.I.* G.N. Potanin o nastoyatel'noy potrebnosti vvedeniya predmeta «rodinovedenie» v uchebnye programmy rossiyskikh narodnykh shkol v kontse XIX – nachale XX v. // Vestn. Tom. gos. un-ta. Istoriya. 2008. № 3 (4). S. 96–99.
31. *Smokotina L.I.* G.N. Potanin o tselesoobraznosti rodinovedeniya v razvitii russko-mongol'skoy trgovli v kontse XIX – nachale XX v. // Vestn. Tom. gos. un-ta. Istoriya. 2011. № 2 (14). S. 49–53.
32. *Avesov (G.N. Potanin).* Oblastnoy vopros v russkoy pechati v 1885 g. // Vostochnoe obozrenie. 1886. № 1. S. 9–10.
33. *Potantin G.N.* «Vozrozhdenie Rossii i ministerstvo narodnogo prosveshcheniya» / publ. i komment. K.V. Anisimova // Vestn. Tom. gos. un-ta. 2004. № 282. Ser. Filosofiya. Kul'turologiya. Filologiya. S. 300–307.
34. *Miller A.I.* «Ukrainskiy vopros» v politike vlastey i russkom obshchestvennom mnenii (vtoraya polovina XIX v.). SPb., 2000.
35. *Delo ob otdelenii Sibiri ot Rossii* / publ. A.T. Topchiya, R.A. Topchiya; Sost. N.V. Serebrennikov. Tomsk, 2002.
36. *Malinov A.V.* Sibirskiy zemlyacheskij kruzhok v Peterburge – pervaya organizatsiya sibirskikh oblastnikov // Oblastnicheskaya tendentsiya v russkoy filosofskoy i obshchestvennoy mysli: K 150-letiyu sibirskogo oblastnichestva. SPb., 2010. S. 116–139.
37. *Potantin G.N.* Oblastnicheskaya tendentsiya v Sibiri. Tomsk, 1907.
38. *Potantin G.N.* Vospominaniya // Literaturnoe nasledstvo Sibiri. Novosibirsk, 1986. T. 7. S. 35–139.
39. *Astaf'ev V.P.* Net mne otveta... Epistolyarnyy dnevnik 1952–2001. Irkutsk, 2009.
40. *Rasputin V.G.* Otkuda est'-poshli moi knigi // Rasputin V.G. V poiskakh berega: povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse. Irkutsk, 2007. S. 501–512.
41. *Astaf'ev V.P.* Prishlaya // Astaf'ev V.P. Sobr. soch.: v 15 t. Krasnoyarsk, 1997. T. 11. S. 422–427.
42. *Rasputin V.G.* Sibir', Sibir'... Irkutsk, 2006.
43. *Slezkin Yu.* Arkticheskie zerkala: Rossiya i malye narody Severa. M., 2008.
44. *Plekhanova I.I.* «Filosofiya chuvstv» v proze V. Rasputina // Poetika pisatelya i literaturnyy protsess. Tyumen', 1988. S. 134–140.
45. *Leyderman N.L., Lipovetskiy M.N.* Sovremennaya russkaya literatura: 1950–1990-e gody: v 2 t. M., 2006. T. 2.
46. *Greenfeld L.* Nationalism. Five Roads to Modernity. Harvard, 1992.
47. *Gudkov L.D.* Negativnaya identichnost'. M., 2004.

48. *Lipovetskiy M., Berg M.* Mutatsii sovetskosti i sud'ba sovetskogo liberalizma v literaturnoy kritike semidesyatykh: 1970–1985 // *Istoriya russkoy literaturnoy kritiki: sovetskaya i postsovetskaya epokhi / pod red. E. Dobrenko, G. Tikhanova.* M., 2011. S. 477–532.
49. *Prokhorov A.* Unasledovannyi diskurs: Paradigmy stalinskoy kul'tury v literature i kinematografe «ottepeli». SPb., 2007.
50. *Slovtsov P.A.* Istoricheskoe obozrenie Sibiri: v 2 kn. SPb., 1886. Kn. 2.
51. *Potantin G.N.* Rodinovedenie / Publ. I.F. Yushina, vstup. st. i komment. N.V. Serebrennikova // *Literatura Urala: istoriya i sovremennost'. Vyp. 4: Lokal'nye teksty i tipy regional'nykh narrativov.* Ekaterinburg, 2008. S. 116–122.
52. *Meyneke F.* Vozniknovenie istorizma. M., 2004.
53. *Yadrintsev N.M.* Sbornik izbrannykh statey, stikhotvoreny i fel'etonov. Krasnoyarsk, 1919.
54. *Gudkov L.* Ambitsii i resentment ideologicheskogo provintsializma // *Novoe literaturnoe obozrenie.* 1998. № 3 (31). S. 353–371.
55. *Golovinov A.V.* Ideologi oblastnichestva o roli intelligentsii v razvitiy russkoy provintsial'noy kul'tury // *Oblastnicheskaya tendentsiya v russkoy filosofskoy i obshchestvennoy mysli: K 150-letiyu sibirskogo oblastnichestva.* SPb., 2010. S. 32–40
56. *Shilovskiy M.V.* «Polneyshaya samootverzhennaya predannost' nauke». G.N. Potantin: biogr. ocherk. Novosibirsk, 2004.
57. *Sibir' v sostave Rossiyskoy imperii.* M., 2007.
58. *Rasputin V.G.* Otkuda oni v Irkutske?: Predislovie k knige A.D. Fat'yanova «Irkutskie sokrovishcha» // *Rasputin V.G. V poiskakh berega: povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse.* Irkutsk, 2007. S. 362–371.
59. *Astaf'ev V.P.* Rodnoy golos // *Astaf'ev V.P. Sobr. soch.:* v 15 t. T. 12. Krasnoyarsk, 1998. S. 49–60.
60. *Rasputin V.G.* Voprosy, voprosy... // *Rasputin V.G. V poiskakh berega: povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse.* Irkutsk, 2007. S. 477–500.
61. *Zhivov V.M.* Chuvstvitel'nyy natsionalizm: Karamzin, Rostopchin, natsional'nyy suverenitet i poiski natsional'noy identichnosti // *Novoe literaturnoe obozrenie.* 2008. № 91 (3). S. 114–140.
62. *Skott Dzh.* Blagimi namereniyami gosudarstva: Pochemu i kak provalivalis' proekty uluchsheniya uslovy chelovecheskoy zhizni. M., 2005.
63. *Brooks J.* When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, 1988.
64. *Lotman Yu.M., Uspenskiy B.A.* Spory o yazyke v nachale XIX veka kak fakt russkoy kul'tury: («Proisshestvie v tsarstve teney, ili Sud'bina rossiyskogo yazyka» – neizvestnoe sochinenie Semena Bobrova) // *Lotman Yu.M. Istoriya i tipologiya russkoy kul'tury.* SPb., 2002. S. 446–600.
65. *Rasputin V.G.* «Tak sozdamim zhe techenie vstrechnoe...»: Vystuplenie na s'ezde Russkogo Natsional'nogo Sobora // *Rasputin V.G. V poiskakh berega: povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse.* Irkutsk, 2007. S. 232–241.
66. *Rasputin V.G.* Baykal predo mnoyu // *Rasputin V.G. V poiskakh berega: povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse.* Irkutsk, 2007. S. 515–525.
67. *Weiner D.A.* Little Corner of Freedom. Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev. Berkeley, LA; London, 1999.
68. *Yanitskiy O.A.* Dlinnye 1970-e: grazhdanskoe obshchestvo togda i seychas // *Neprikosnovennyi zapas.* 2007. № 2 (52). Rezhim dostupa: <http://magazines.russ.ru/nz/2007/2/ia3.html> (ssylka proverena 10.11. 2013).